

## «У КАЖДОГО ПОРТНОГО СВОЙ ВЗГЛЯД НА ИСКУССТВО», ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА-ПРОВИНЦИАЛА<sup>1</sup>

Е.Е. ДУТЧАК

Кафедра дореволюционной истории России  
Томский государственный университет  
634050, Томск, пр. Ленина, 36

Жану Пиаже принадлежит замечательное высказывание – «интеллект организует мир, формируя себя». Наш образ мира складывается из многих факторов-обстоятельств, и мир каждого человека по праву считается неповторимым, но в то же время каждому новому поколению присущ свой взгляд на диахроническую перспективу. Он тем более может быть интересным для исследования, если речь идет о потенциальном историке-профессионале – значит, хотим мы этого или нет – идеологе, который сегодня вписывается в культурную ситуацию, а завтра будет создавать ее собой. Как он привык организовывать мир и как он формирует самого себя – эти вопросы определили содержание социологического исследования, проведенного среди студентов 1-го и 3-го курса ИФ Томского госуниверситета. Всего было опрошено 147 студентов. Социальный портрет респондентов – 64 % из них девушки, 36 % – юноши; подавляющее большинство – горожане, выходцы из средне обеспеченных семей руководителей, специалистов и служащих государственного сектора; 26 % из них оплачивают свое образование, при этом  $\frac{1}{4}$  опрошенных оценивает свой статус студента ИФ как случайность<sup>2</sup>.

Пожалуй, главный вывод исследования – научное и студенческое сообщества сегодня живут разными жизнями и в разных дискурсивных практиках. Первые спорят о наличии или отсутствии кризиса с разными оценками того и другого. И поскольку «общество взрослых» не предлагает вторым качественного среднего образования, приемлемых и понятных коллективистских ценностей (при этом, не одобряя ценностей индивидуалистических), они в силу возрастных особенностей и актуализированных достижительных стратегий демонстрируют одновременно известное равнодушие к методологическим дискуссиям, помноженное на завидную уверенность в завтрашнем дне невежество и обнаруживают явную склонность ограничивать связи и интересы непосредственным коммуникативным кругом.

Так разговор о кризисе науки на страницах отечественных изданий и в учебных курсах, о необходимости преодоления наследия позитивизма и включении в пространство исторического исследования человека идет уже не один год, но современный студент в массе своей в оценках динамики, направленности, смыслового ядра исторического процесса по-прежнему воспроизводит установки европейской интеллектуальной традиции XVIII–XIX вв. В этом нет ничего удивительного, поскольку школьная и вузовская учебная литература, как и массовое сознание, остаются ориентированными на формационно-временные связи, а причинно-функциональные формулы – помимо своей давно выявленной удобной способности обобщать множество отдельных связей – латентно несут в себе абсолютизацию модели поступательности, зачастую сливающуюся с убеждением в прогрессивности происходящего. Устойчивость таких представлений во многом оставляет интердисциплинарный подход декларативным, поскольку создание на его основе структурированной кар-

тины, способной описать переход из одного качества в другое, пока не стало органичным даже для подавляющего большинства историков-профессионалов.

Сегодня более распространена такая практика: обоснование важности и перспективности какой-либо методологии существует в исследовательском/ учебном тексте само по себе, а репрезентация конкретных исторических сюжетов, соответственно, живет вполне самостоятельной жизнью. В итоге история продолжает наделяться линейными характеристиками с обязательной и ничего не объясняющей констатацией периодических кризисов; и многослойность, равно как и разная скорость развития отдельных пластов исторического пространства, нередко просто опускаются в рассуждениях. Безусловно, старшее и среднее поколения историков выросли на позитивистской методологии и помимо своей воли воспроизводят формационные клише. Но речь, вероятно, должна идти и о том, что современная русистика в целом, не избавившаяся от просветительской концепции векторного времени и веберовской традиции анализа статичных состояний, пока либо не аккумулировала в достаточной мере интеллектуальный ресурс полидисциплинарности, либо еще не научилась использовать накопленное для реконструкции сложных, динамичных систем на длительной временной и пространственной перспективе.

Отечественная гуманитаристика находится еще в плену представлений о возможности создания истины и зачастую сводит дискуссии к репрезентации очередной модели, претендующей на универсальность. Кстати, даже средневековое богословие, чрезвычайно внимательное ко всем нюансам истинного-ложного, в этом смысле было более осторожным – истину можно было открыть, но она менее всего зависела от описательной активности человека. Современному же студенту-историку, по сути, ничего не остается, кроме как продолжать «расколдовывать мир», принимая в собственных исторических построениях за точку отсчета сферу политики и, связанную с ней область социального конфликта (66 %). Только один из респондентов поставил в центр человека в весьма специфическом, но все-таки угадываемом контексте, написав, что доминантой исторического процесса является «хозяйственно-бытовая сфера». Выход из замкнутого круга видится вовсе не в развенчании «устаревших» методологий, а в демонстрации в учебных курсах разных форм протекания времени, что, во-первых, задаст границы использования отдельных подходов, не превращая их при этом в смертельных врагов, и, во-вторых, избавит политическую историю от большого количества не присущих ей значений.

Пока же ставшее привычным признание роли сталкера за сферой политики (с ее явной личностной составляющей) неизбежно ставит вопрос о способности студента работать с проблемами исторической альтернативности, улавливать разницу между субъектностью и объективным контекстом. К сожалению, эта способность лишь в очень малой степени формируется в ходе учебных курсов – для этого нет ни времени, ни необходимой методологической и источниковой базы. Поэтому нет ничего неожиданного в том, что и для студентов проблемы исторической каузальности в ракурсе соотношения эвентуального и закономерного не являются приоритетными, правда, у 61 % из них присутствует понимание того, что фазы плавного течения периодически сменяются точками бифуркации, хотя, конечно, остается открытым вопрос о степени его рациональности.

Обратной стороной этой медали можно считать представления томских студентов-историков об идеальном учебнике, от которого ожидается легкость в изложении материала, знакомство с неизбитыми фактами и отсутствие даже намека на авторскую позицию. В целом, требуется что-то вроде учебного минимума для абитуриента, способного решать исключительно прагматические задачи типа успешной сдачи изучаемой дисциплины. Студентов можно понять, нормой стали «веерные» образовательные стратегии – одновременное обучение по нескольким специальностям, да и большинство учебников не выдерживает никакой критики – переплет становится единственным, что объединяет его содержимое. Только 20 % респондентов, самостоятельно и сознательно выбравших специальность «история» и связывающих свое будущее с наукой, хотели бы через учебную литературу общего профиля получить знакомство с новыми методологиями.

Проблема качества и характеристик учебной литературы возникла не сегодня, но ее решение, вероятно, будет зависеть от ответа на вопрос о функции образования здесь и сейчас – это средство приобретения специальности и вместе с ней желаемого социального статуса либо средство трансляции знаний и научной культуры, ценных сами по себе. Сегодня же, действительно, от учебника требуются слишком разные результаты – и обучение словарю и синтаксису современного научного языка, и постулирование нравственных ориентиров, и наличие необходимого «джентльменского набора» имен, дат и событий, без знания которых не мыслится гуманитарий-профессионал. Однако факт остается фактом – учебник по сути своей не способен учить культуре толерантности. Он всего лишь фиксирует линейный процесс развития науки, сгруппированный в нем материал принципиально исключает возможность постановки вопроса о научных революциях, поэтому не стоит надеяться на его способность научить кого-либо критическому мышлению. Эта задача скорее под силу авторским учебным курсам, способным совмещать задачи строгой научности и воспитания<sup>3</sup>, в чем, как показывают результаты исследования, есть настоящая потребность.

В анкете студентам было предложено назвать имена людей, которые являются своеобразными символами российской истории и прокомментировать логику отбора. Ожидаемого разнообразия в номинациях не обнаружилось, явно вычленяется «тройка лидеров» – Иван IV, Петр I, И.В. Сталин. Списывание все на законы восприятия и усвоения информации в данном случае не оправдано, только два респондента объяснили свой выбор частотой упоминания имен. Для прочих важным оказалось совсем другое – эти персоны связываются, во-первых, с режимами безграничной власти, обратной стороной которых является «великий страх» обывателей; во-вторых, с их желанием «перевернуть Россию и сделать ее великой». Вырисовывается, в общем, настораживающая картина – современному студенчеству (прежде всего, его женской составляющей) оказывается близка сама идея тирана-реформатора, который железной рукой готов загнать своих подданных в светлое будущее. Вряд ли у этого феномена есть лишь одно объяснение. Скорее всего, дают о себе знать и разрушение традиционных для российского общества гендерных ролей и стереотипов, и действие ореола всевластия в равной степени пугающего и привлекающего, и результат все той же гипертрофированной оценки значения политической компоненты в общественной жизни, поскольку историк чаще всего имеет дело с ее результатами – «травматическими» по своей природе.

Очевидная проблематичность политических событий и вместе с тем установка на сверхдетерминированность их значения в повседневной жизни способны сыграть с историком злую шутку. Один из вопросов анкеты предлагал оценить уровень мифологичности заведомо негативных суждений, например – русские не знали самоуправления; в России всегда правили не законы, а люди; все или почти все российские реформы оказались несостоятельными; Петром I была уничтожена самобытность русской культуры; русское общество всегда было закрытым и т.д. Результат оказался следующим – склонность к мифотворчеству, выражаемая желанием установить точные и однозначные границы в истолковании реальности, более проявляет себя именно в оценке политической истории. Вероятно, здесь мы имеем дело с работой защитных культурных механизмов, табуирующих само обсуждение исторических возможностей, в основе которых лежит страх перед разрушением собственной культурной и исторической идентичности<sup>4</sup>. Внутренний мотив запрета, как ни парадоксально, сегодня способен к актуализации, поскольку поколение-internet сложно отнести к читающему, а значит, оно будет воспроизводить устные истории с их влечением к мифологизации. Миф, как известно, в отличие от научных истин, нередко воспринимаемых как диссонансные, напротив, обладает латентной устойчивостью, он крайне слабо подвержен критике и удивительно удобен в качестве объясняющей модели. Поэтому осмысление современных общественных настроений вольно или невольно экстраполируется студентами на прошлое или наоборот – канувшие в лету обстоятельства получают статус вневременных смыслов, в итоге, категории объективности, закономерности с легкостью заменяются этическими и идеологическими оценками. Причем некоторые из них вряд ли можно считать личной позицией, они во многом сложились под влиянием СМИ: например, большинство сту-

дентов считают самодержавие XVIII – начала XX вв. институтом, мешающим развитию страны (73 %) и одновременно склонны отрицательно оценивать события 1917 г. (93 %).

Можно предположить, что интерпретациям респондентов событий политической истории и современности присуща некоторая двойственность. С одной стороны, налицо восприятие российской истории как преимущественно негативного опыта государственного строительства и социальной организации. Вряд ли генезис подобных взглядов связан лишь с распространением либертариальных взглядов<sup>5</sup>, скорее они легли уже на вполне подготовленную почву, поскольку степень вмешательства государства за предшествующие столетия в частную жизнь своих сограждан серьезно превышала допустимые пределы. С другой, нынешнее поколение студентов только по семейным историям может судить о давящем прессе государства, само же оно испытывает явную потребность «в сильной руке». Такой результат делает возможным постановку вопроса о действии, так называемого, синдрома авторитарной личности или гипотетического наличия у человека склонности подчиняться авторитету власти.

На сегодняшний день выявлены основные черты этого психологического типа: склонность к поддержке недемократических форм власти, нетерпимость к инакомыслию, национальные и социальные предрассудки, агрессивность, стереотипность мышления, морализаторство по поводу сексуальной жизни, конвенционализм, но в то же время остаются открытыми вопросы о сущности феномена – это индивидуальная личностная черта или атрибут групповой сплоченности; о факторах влияния, в частности, зависимости от особенностей семей, индивидуальной кризисной ситуации, социокультурных чертах этноса и пр.<sup>6</sup> Несомненно, у части студентов (и прежде всего это характерно для девушек-первокурсниц) есть атрибуты указанного синдрома: 76 % опрошенных склонны считать, что России нужна «сильная рука»; с силовыми факторами – отсутствием властной вертикали, рыночными реформами, коррупцией более 41 % связывает и причины имущественной поляризации россиян; с разной степенью уверенности 1/5 полагает, что детей следует учить подчинению авторитету старших и в оценках 1/4 русские в России оказываются незащищенными и обиженными; около 10 % в двух последних случаях «затруднились с ответом». Отрадно заметить, что уровень толерантности ощутимо повышается к 3-му курсу, локус контроля явно смещается в область внутренних факторов.

Более сложным является вопрос об источнике выявленных позиций. Ожидаемой статистической зависимости между материальным положением семей, статусными характеристиками родителей и склонностью негативно или позитивно оценивать рыночные реформы не обнаружено<sup>7</sup>. Скорее здесь проявляется потребность русского постстаршего сознания чувствовать себя более объектом воздействия, нежели субъектом управления, и надеждами на то, что только политической власти с заданным набором характеристик доступно сохранение коллективистских ценностей, тем самым уже на новом витке происходит возврат к вопросу об «истинности-ложности», «праведности-неправедности» личности, отождествляемой с государственным аппаратом (в данном случае, как его называть самодержцем, генсеком или президентом роли по большому счету не играет). Но готов ли современный молодой человек, уже так или иначе приобщенный к либеральным культурным стандартам, безоговорочно признать за властью права ради отдаленной перспективы не считаться с его частным мнением и частным интересом? Ответ оказывается вовсе не однозначным.

Примечателен тот факт, что 79 % студентов считают реальным противостояние России и Запада (для сравнения: 15,6 % ответили «скорее нет»; 2,7 % «затруднились с ответом» и 2,7 % уверены, что такой проблемы не существует). На первый взгляд, возникает предположение, что продолжает воспроизводить себя привычная для русского массового сознания оппозиция «великая, но сегодня несчастная Россия и злой Запад»: вызывает явное раздражение западная помощь, которая расценивается исключительно как демонстрация силы и собственной успешности; русский культурный космос интерпретируется в терминах соборности и духовности, в чем Западу отказывается и т.д. Но в то же время кластерный анализ восприятия социокультурных матриц России и Запада дал серьезно усложняющие примитивную ситуацию противостояния результаты. Образ Запада оказывается сходным со слоеным пирогом – признание

технических достижений, уровня комфортности перемежаются с неприятием Запада а priori, правда, уже без особой экзальтации и демонизации. Все это позволяет говорить о том, что стала реальностью очередная смена этнических стереотипов<sup>8</sup>, идет процесс усвоения западных ценностей, формирование более спокойного отношения к Западу и ощущение себя частью именно западной либеральной цивилизации.

Этому поколению студентов присуще естественное состояние свободы, которое они не связывают с конкретным политическим режимом или с «перестройкой», им не знакома ситуация «освобождения» как, например, поколению 30-летних россиян, для них сама идея демократизации уже не соотносится со статусом общественного идеала. Они демонстрируют достаточно высокий социальный оптимизм и легитимность, готовность трудиться на благо общества и ждут ответного уважения к своим правам. Не случайно, часть респондентов прямо ответила, что слово «патриотизм» связано для них именно с этим. Патриотизм приобретает специфический оттенок, идет «атомизация» жизненных практик. Хотя экстраполяция выводов томских социологов, считающих отличительной чертой современной молодежи исключение коллективистских социальных ценностей из горизонта опыта, будет поспешной. Приобретаемая специальность создает маятниковый режим между желанием решать собственные проблемы и явно ощущаемой потребностью в коллективистских ценностях либерального содержания. 47 % респондентов считают, что национальная идеология должна выражаться формулой «свобода – собственность – законность». 15 % из них предложили свои варианты, в целом сводящиеся к мысли о неприемлемости идеологического диктата со стороны государства: например, «законность – родина – честь», «раса – нация – личность», «духовность – благодарность – родина». Все это говорит о том, что распространение в относительно массовых формах личностного типа культуры в России начинается именно сейчас.

Однако социокультурная ситуация современной России далека от идеализации. Разрушение некогда статичного состояния и накопление внутри системы энтропийных элементов уже вступает в завершающую стадию, за которым – в идеале – следует преодоление хаоса и новое упорядочивание. Но между этими этапами есть и зона фронта, наделяющая сознание индивида чертами пограничности, которые имеют мало сходств с тем, что принято называть целостным мировоззрением. Присущий любой переходной эпохе момент когнитивного диссонанса задает разнонаправленные векторы общественного развития: возврат к архаизации, значит, готовность на новом витке воспроизводить на разных уровнях жизненных практик авторитарные формы социального опыта и стремление к выработке инновационных решений. И вопрос – каким будет выбор – приобретает чрезвычайную актуальность<sup>9</sup>.

Известно, что выход культуры из статичного состояния сопровождается активизацией архаических, религиозно-мифологических пластов. На первый взгляд, признаки архаизации очевидны – стремление оценивать происходящее в дискурсе «правильного-неправильного», возрастание маркирующей роли конфессионального признака, потребность в золотом ключике – методологическом ходе, который объяснит все и вся. Но возможно, что видимый дисбаланс архаики и модерна и «свобода от полутонов» – это не более чем показатель префигуративности культурного типа, и возрастное стремление студентов к ясности, простоте, категоричности всего лишь нормальное следствие этого, а не редукция роковой бинарности русского сознания, привыкшего в условиях кризиса реанимировать прежний исторический опыт.

Конечно, современный студент склонен к мифотворчеству. Это специфическая черта и поколения, и профессии. Однако мифы по своей природе могут быть разными – трагическими, ироническими, романтическими и историк обязан понимать, что самому историческому событию не присуща, например, трагичность, такую оценку оно приобретает будучи включенным в некоторый структурированный список событий. Поэтому от установок следующего поколения историков зависит, как будет трактоваться исторический процесс – в терминах разрушения, цикличности или прогресса. Скорее всего, в терминах прогресса, поскольку в массе своей у этого поколения студентов нет ощущений ни глобального кризиса, ни фарса, которые, например, присущи старшему поколению россиян. Однако следует от-

давать отчет в том, что преподаватель вуза имеет дело с элитой, и переносить этот вывод на российскую молодежь в целом вряд ли есть основания.

Во-первых, она слишком неоднородна: по вертикали статусные позиции молодежи размещаются в диапазоне от социального реванша до маргинализации, никуда не исчезла и будет проявлять себя впредь и горизонтальная дисперсия – по региональным, семейным, профессиональным и прочим факторам. Во-вторых, реальностью стало выделение слоя учебных заведений, привилегированность которых закрепляется уровнем жизненного стандарта семей студентов, получение образования напрямую оказывается связано с обучением в нерядовой школе, возможностью занятий с репетитором и пр. Можно говорить о том, что сегодня изменилась не только глубина социального неравенства, но, прежде всего, его тип, и фигура Михаила Ломоносова вряд ли вскоре останется в ранге национального образовательного идеала.

Сказанное естественным образом наталкивает на рассуждения о клиентерапевтической проблематике, популярной на Западе и завоевывающей сторонников в России.<sup>10</sup> Наверное, общество и в самом деле нуждается в клиентерапии, уже потому что ощущение собственной ущербности, выражаемой формулой «хотели лучше, получилось как всегда» не должно определять умонастроений. Но станет ли панацеей очередное методологическое заимствование, основные последствия которого очевидны даже сейчас. Первое из них – технология клиентерапии базируется на – не провозглашаемом открыто – принципе наличия двух историй: одна для обывателей – отлакированная, со сбалансированным перечнем достоинств и недостатков, другая – настоящая, профессиональная, что создает благодатную почву для новых всплесков дилетантских рассуждений на исторические темы. Кроме того, клиентерапия в сложносегментированном обществе с размытыми представлениями о добре и зле, нуждающемся в формировании идентичности, но не видящем пока в повседневной жизни оснований для исторического оптимизма, может заложить и почву для недоверия гуманитарии-профессионалу.

Вряд ли нужно сегодня форсировать этот процесс, пока не ясно, что и как нужно делать. Переход на стадию формирования новых культурных смыслов – прав Ричард Рорти – начинается с переописания множества вещей, он продолжится до тех пор, пока не будет создан привлекательный для молодежи образец лингвистического поведения, который, в свою очередь, заставит искать подходящие ему социальные практики<sup>11</sup>. Хочется верить в то, что они будут ориентировать на личность, способную контролировать себя и свои желания, осознающую личную ответственность за происходящее. Вероятно, только тогда мысль Карла Беккера «каждый сам себе историк», созвучная афоризму Козьмы Пруткина, перестанет восприниматься как угроза концептуального анархизма и всего лишь станет иллюстрацией относительности исторических истин.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 02-01-00527а/Т.

<sup>2</sup> Фронтальный опрос проводился методом формализованного интервью, результаты обрабатывались на ПЭВМ в программе «STATISTICA 6.0», открытые вопросы – с помощью методики контент-анализа. Автор выражает глубокую признательность А.В. Бочарову за помощь в обработке полученных данных и Н.В. Поправко за возможность сравнить полученные результаты с итогами социологического исследования «Выпускники сельских и городских общеобразовательных школ на рынке образовательных услуг и перспективы политики вузов: на примере томского региона» (грант РГНФ №01-03-00134).

<sup>3</sup> В качестве наиболее удачного опыта синтеза этих задач можно назвать курсы лекций И.Н. Данилевского – Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.). – М., 1998; Русские земли глазами современников и потомков (XII–XIV вв.). – М., 2001.

<sup>4</sup> Парамонова М.Ю. «Несостоявшаяся история»: аргумент в споре об исторической объективности? (Заметки о книге А. Деманда и не только о ней) // Одиссей. Человек в истории. 1997. – М., 1998. – С. 347.

<sup>5</sup> Барзилов С.И., Чернышов А.Г. Антропоцентрическое измерение российского исторического пространства // История в XXI веке: историко-антропологический подход в изучении истории человечества. – М., 2001. – С. 71–72.

<sup>6</sup> Юртайкин В.В., Дьяконова Н.А. Авторитаризм в системе установок российских и американских студентов // Социс. 2001. – № 9. – С. 58–67.

<sup>7</sup> О существовании такой зависимости говорится, например: Руткевич М.Н. Политические воззрения выпускников школ (на материалах опроса выпускников средней школы) // Вестник РГНФ. 2001. – № 3. – С. 97–110.

<sup>8</sup> Голубев А.В. Советская Россия и Запад: динамика восприятия // История в XXI веке: историко-антропологический подход в изучении истории человечества. – М., 2001.

<sup>9</sup> Сагалаев А.М. Архаичное миропонимание и современный менталитет России (к постановке проблемы) // Вестник Томского государственного университета. 1999. – № 268. – С. 8–11; Ахизер А.С. Архаизация в российском обществе как методологическая проблема // Общественные науки и современность. 2001. – № 2. – С. 89–100; Земсков В.Б. Одноликий Янус. Пограничная эпоха – пограничное сознание // Общественные науки и современность. 2001. – № 6. – С. 132–139.

<sup>10</sup> Согрин В.В. Клиотерапия и историческая реальность: тест на совместимость (размышления над монографией Б.Н. Миронова «Социальная история России периода империи») // Общественные науки и современность. 2002. – № 1. – С. 144–160.

<sup>11</sup> Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. – М., 1996. – С. 29.

## **“EVERY TAILOR HAS HIS OWN VIEW ON THE ARTS “ OR RUSSIAN HISTORY THROUGH PROVINCIAL STUDENT’S EYES**

**E.E. DUTCHAK**

Department of Russian History (before 1917)  
State University of Tomsk  
*36 Lenin Ave., Tomsk, 634050 Russia*

The article presents the results of the sociological poll suggested to the students of the Tomsk State University History Faculty. The purpose of the research was finding out drawbacks in teaching the course of Russian history which were detected by identification of stereotyped estimations of the past and present of the country typical of modern students.